

И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее.

Бытие, гл. 29, ст. 20

Что было особенного в моем отце? Ничего. Правда, он родился в Швейцарии, в Базеле, — в нашем городке не так уж много уроженцев Швейцарии. Говоря точнее, им был только мой отец.

В остальном — обыкновенный сапожник. Плохой сапожник. Его отец, мой дедушка, был в Базеле профессором медицины, а братья, мои дяди, — докторами медицины. И моему отцу тоже следовало стать доктором медицины. Но он стал сапожником, и, как я уже сказал, неважным сапожником.

Мою фамилию вы знаете — Ивановский. Мой отец тоже был Ивановский, дедушка из Базеля — Ивановский, дяди — Ивановские, и кузены, те, что сейчас живут в Базеле, — тоже Ивановские. Может быть, там они не просто Ивановские, а какие-нибудь перелицованные на немецкий лад, скажем Ивановский. Но, как ни поворачивать, остается Ивановский. Мой прадедушка родился в селе Ивановке, а тогда был обычай давать фамилию по названию города, деревни или местечка, откуда ты родом. Прадедушка был человек состоятельный и, когда его единственный сын, то есть мой дедушка, окончил гимназию, послал его учиться в Швейцарию. Дедушка окончил университет в Базеле и там же, в Базеле, женился. Женился на дочери врача, владельца большой клиники. Теща умер, клиника перешла к моему деду, а после него к его двум старшим сыновьям, моим дядям. Отец мой тоже был наследником, имел право на часть клиники, но он не был медиком, жил не в Базеле, а в России, ничего для клиники не сделал и ни на что не претендовал.

Итак, у моего дедушки Ивановского было три сына... «У ста-ринушки три сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак...» Не знаю, был ли мой

старший дядя умнее среднего, не думаю. Оба окончили университет, стали докторами медицины, владельцами одной из лучших клиник в Европе, значит были не дураки. Что касается моего отца, то он тоже не был дурачок, но он не получил высшего образования, хотя возможностей для этого у него было не меньше, чем у его братьев. Отец был младший в семье, последний, *мизиникл*, как у нас говорят, то есть мизинец, самый маленький, а самый маленький — самый любимый. И из трех братьев он единственный был похож на мать, такую субтильную немочку. Старшие братья были в дедушку Ивановского, здоровые, знаете ли, бугаи. Вот фотокарточка: эти двое, в белых шапочках и белых халатах, старшие, видите, мясники. Впрочем, знаменитые на всю Европу хирурги, дело свое знали и делать его умели. А вот карточка моего отца: голубоглазый блондин, изящный, нежный и застенчивый красавчик, мамин и папин любимчик. Дедушка, профессор Ивановский, был деловой человек и вместе со старшими сыновьями был занят медициной, клиникой и пациентами, но жену свою любил и младшего сына, то есть моего отца, тоже любил. Звали моего отца Якоб — это по-немецки, а по-нашему Яков, и я, следовательно, Яковлевич, Борис Яковлевич Ивановский.

В общем, отец мой Якоб был младший, был любимчик, и его мама, моя будущая бабушка, старалась держать его при себе, ходила с ним гулять по Базелю, люди останавливались, спрашивали, чей это и откуда такой ангелок. И моей бабушке было приятно, всякой матери приятно, когда любуются ее ребенком.

Говорят, в девятнадцать лет мой отец был настоящий Дориан Грей. Что?.. Я тоже, наверно, был похож на Дориана Грея? Не думаю. Если я и был похож на Дориана Грея, то на того, который уже изрезал или порвал свой портрет. Но из всех братьев, а нас было пятеро, только я и самый младший, Саша, были похожи на отца, — как видите, я блондин, и глаза у меня голубые, и рост сто семьдесят восемь сантиметров, как у отца. Остальные братья в матерь, мать была крупная женщина, и братья высоченные — за сто восемьдесят сантиметров, костлявые, черные, как цыгане... Сколько вы мне дадите? Спасибо! А за шестьдесят не хотите? Представьте себе!.. Молодой я действительно был ничего... Не хочу преувеличивать, но факт остается фактом. Когда еще в парнях я работал сапожником, то самые

шикарные дамочки требовали, чтобы именно я шил им туфельки, и когда такой шикарной дамочке я обмеривал ножку, то из этой ножки было электричество, даю вам слово!.. Но прошло, проехало, пролетело, и давайте вернемся к моему отцу.

Когда отец окончил колледж и готовился поступить в университет, возникла идея поехать в Россию, посмотреть родные места. Отчего и как возникла такая идея, точно сказать не могу. Отец завершил среднее образование, и решили, видимо, что не плохо ему перед университетом посмотреть на мир. И дедушка давно мечтал посетить места, где родился, где лежат в могиле его предки, — одним словом, родину. И моя бабушка тоже, наверно, хотела доставить удовольствие своему любимчику. Ведь ее Якоб совсем не был похож на старших братьев: те — деловые люди, практики, реалисты, а этот — мечтатель, романтик. Бабушка даже не была уверена, что он должен стать доктором, но раз уж так повелось в их роду — все доктора, — то пусть будет не хирургом, хотя бы терапевтом, а еще лучше — психиатром, вроде Фрейда.

На том решили, сдали документы Якоба в университет, а может быть, просто записали в университет, не знаю, как это делается в Швейцарии, все оформили и поехали в Россию: мой дедушка профессор Ивановский и мой будущий отец, красивый молодой блондин Якоб из города Базель, Швейцария. Было это в 1909 году.

Теперь представьте себе состояние молодого человека из Базеля, пересекающего Россию в 1909 году. Я не был в Базеле, не был в Швейцарии, но я почти два года был в Германии, в войну в армии и после войны в оккупационных войсках, и могу представить себе приблизительно, что такое Базель и что такое Швейцария. Красивая страна, Альпы, Женевское озеро... Но горы и озера есть и у нас и, наверно, не уступят ни Альпам, ни Женевскому озеру. Я вовсе не утверждаю, что Россия — красивейшая страна мира, и когда поют: «Хороша страна Болгария, но Россия лучше всех», то это для русского человека, а болгарины, я думаю, Болгария тоже не хуже других. Но, понимаете, когда молодой человек, девятнадцати лет, мечтательный, впечатлительный, приезжает из Швейцарии, едет день, два, три по России и видит из окна вагона бескрайние степи, и деревеньки на горизонте, и белые украинские хаты, и вишневые сады под

горячим южным солнцем, и небо, полное звезд, и маковки церквей, и усатых украинцев, и украинок в ярких монистах... Это вам не чинный, добропорядочный Базель. И к тому же молодой человек знает, что здесь, в этих степях, родился его отец, и это не может не произвести на него впечатления. Возможно, у него не защемило сердце, как щемит оно у нас, когда мы возвращаемся на родину, как, наверное, защемило у дедушки, когда он почти через сорок лет снова увидел Россию. Но, повторяю, впечатление было очень сильным, он сам потом рассказывал, что не мог отойти от окна, не мог оторваться от наших просторов, тихих полустанков, ковыля, перелесков. Добавьте к этому, что ничего, кроме Швейцарии, он не видел, ехал к нам через Австрию, а в Австрии ничего особенно нового по сравнению с Швейцарией, я думаю, не заметил.

И вот в таком состоянии этот молодой человек идет по нашему тихому жаркому южному городу, идет по солнечной песчаной улице, где родился его отец, где жили его дедушка и бабушка: улица довольно широкая, как это бывает в степных городках, по обе стороны деревянные домики с голубыми ставнями, деревянные заборы с крепкими воротами, палисадники, тополя, и на улице никого нет, улица пустынна.

Все, конечно, знали, что сын покойного Ивановского приехал посмотреть родину и показать ее своему сыну, чтобы тот не забывал, откуда они родом, и, конечно, всем было интересно на них поглядеть. Но народ у нас деликатный, никто на улицу не вышел; люди не толпились, не глазели на то, как идут пожилой Ивановский с молодым Ивановским. Но все немного раздвинули занавески и смотрели на них потихоньку из окон; как ни говори, событие — люди приехали из Швейцарии посмотреть улицу, посмотреть дом, где жили их предки.

И только один человек вышел на улицу, только один человек вышел из дома и смотрел на швейцарцев не из окна, а прямо им в глаза. Вы, конечно, догадываетесь, кто был он, этот человек... Это был не он, а она, моя будущая мать Рахиль...

— Что за принцы такие? — сказала она. — Почему я должна, как арестантка, подглядывать за ними из окна?

Вышла на улицу, стала в воротах, прислонилась к калитке и во все глаза смотрит на моего будущего дедушку и на будущего отца.

Представляете картину?! Идет красивый, чистенький блондинчик в заграничном костюме, при галстуке, в модных штиблетах, мальчик из аккуратного города Базеля, где он видел чистеньких немочек в белых передничках, идет этот немчик по жаркому южному городу, по тяжелому, нагретому солнцем песку и видит: стоит в воротах, прислонясь к калитке, загорелая девушка в старом платьице, которое ей до колен, видит стройные босые ноги, видит талию, которую можно обхватить двумя пальцами, видит густые, черные, прекрасные волосы, синие-синие глаза и зубы, белые, как сахар. И она во все свои синие глаза смотрит на него, беззастенчиво, даже нахально, дерзкая шестнадцатилетняя девчонка из южного украинского городка, дочь сапожника, никакому этикету, как вы понимаете, не обучена. И этот парень ей в диковинку. Не только потому, что он из Швейцарии, она об этой Швейцарии понятия не имела, просто она никогда не видела, чтобы еврейский парень был голубоглазый блондин, чтобы был одет, как сын какого-нибудь генерал-губернатора. Она видела только ребят со своей улицы, здоровых, загорелых, — сапожников, кожевников, портных, возчиков, грузчиков. И в первый раз увидела такого беленького мальчика с голубыми глазами, чистенького, аккуратного, красивого, как молодой бог.

Что вам сказать? Это был Момент, Момент с большой буквы. Это была любовь-молния. Эта девушка стала для моего отца судьбой, женщиной, к которой ему было суждено прилепиться. И он прилепился к ней на всю жизнь, как прилепился прадедушка наш Иаков к своей Рахили.

Позже, много лет спустя, отец говорил, что, увидев мать, стоящую у ворот, босоногую, в коротком ситцевом платьице, он полюбил ее, как принц полюбил Золушку, и женился, чтобы увезти в Швейцарию. А мама говорила, что, увидев этого бледненького красавчика в заграничном костюме с жилетом и белым стоячим крахмальным воротничком, изнемогающего от жары, она его пожалела и потому вышла за него замуж. Они, конечно, щутили. Щутили потому, что любили друг друга.

Но вернемся к событиям...

Когда дедушка и отец приехали из Швейцарии, никаких Ивановских в городе уже не было. Отец моего дедушки давно умер, обе его сестры тоже умерли. Но после сестер остались их дети, и у этих детей тоже были дети.

В те времена, особенно в маленьком городишке, приезжий иностранец обязательно считался миллионером. А у всякого миллионара моментально появляется куча родственников. Но это в том случае, если дело происходит в каком-нибудь захудалом местечке, какие в свое время описывал Шолом-Алейхем и где люди жили одним воздухом. Про наш город этого сказать нельзя. Наш город не был похож на местечки черты оседлости. Север Черниговской губернии, рядом Могилевская губерния — уже не Украина, а Белоруссия, тут же Орловская и Брянская — уже Россия, к тому же большая железнодорожная станция, и, хотя это было при царизме, который, как вам известно, угнетал все народы, а еврейский в особенности, люди у нас жили не одним воздухом, люди были с профессией, с положением: кожевники, возчики, грузчики, ремесленники, в том числе сапожники, как, например, Рахленко, мой дедушка со стороны матери.

Возле города сосновый лес, целебный для людей вообще, а для легочников особенно, для них наш лес и наш сухой степной воздух — просто спасение. Тут же и речка с прекрасным песчаным пляжем. Райское место! Летом наезжали дачники из Чернигова, Киева, даже из Москвы и Петербурга. А дачника, сами понимаете, надо обслужить, вокруг дачника полно работы, особенно для сапожника: дачник гуляет, стирает подметку, сбивает каблук, надо починить быстро, срочно, моментально. Но уже тогда сапожное дело у нас развивалось не просто как починка обуви, к тому времени в городе уже был кожевенный завод. Уезд был богат скотом, скот забивали, а шкуры шли на кожевенный завод. Ну а там, где кожа, там, как говорится, надо тачать сапоги. Еще до революции многие сапожники у нас изготавливали обувь на продажу. После революции возникла артель, потом обувная фабрика. Конечно, наш город не Кимры, наша фабрика не «Скороход», но изготавливает совсем неплохую продукцию, говорю это как специалист-обувщик.

Итак, народ был работящий, сводил концы с концами, ни у кого не одолживался, каждый соблюдал свое достоинство. И хотя событие, о котором я рассказываю, было исключительным: что там ни говори, профессор, доктор медицины, из Швейцарии, свой, местный, уехал почти сорок лет назад с этой самой улицы, — и все же не землетрясение. В каком-нибудь шолом-алейхемском местечке это могло вызвать землетрясение, но у нас нет, не вызвало.

Именно поэтому никто, кроме моей матери Рахили, на улицу не вышел и никто, кроме настоящих родственников, им в родню не набивался. Ближайшей родственницей оказалась дедушкина племянница, дочь его родной сестры, пожилая женщина, жена кузнеца, между прочим, первоклассного, потомственно-го кузнеца, даже фамилия его была Кузнецовых. Фамилии в свое время давали не только по месту жительства, но и по профессии. Чей он, мол, такой? Сын кузнеца — Кузнецовых, сын кожевника — Кожевниковых, сапожника — Сапожников, столяра — Столяров, переплетчика — Переплетчиковых, ну и так далее. К этому кузнецу наши швейцарцы и пришли в тот знаменательный день, когда мой будущий отец увидел мою будущую мать.

Конечно, они не сразу пошли к Кузнецовым. По приезде они остановились в гостинице. Гостиница довольно чистая, содержала ее вдова, полька, пани Янквецкая. Лето, курортный сезон, но дедушке предоставили лучший номер. Не такие апартаменты, к каким он привык в Базеле, но терпимо. Дедушка поселился в гостинице, навел справки насчет своей родни и узнал, что жена кузнеца Кузнецова и есть его племянница. Но, как вы понимаете, в таком городке секретов быть не может; когда на следующий день дедушка с сыном Якобом явились к Кузнецовым, то их торжественно ждало все семейство, был накрыт стол, и на столе было все, что полагается в таких случаях. И уже за столом дедушка узнал о других своих родственниках и, как аккуратный и обстоятельный немец, о каждом подробно расспросил: что, мол, и как, с какой стороны тот ему родня, — всезвесил, решил, с кем ему следует повидаться, с кем нет, и тех, кого он отобрал, на следующий день пригласили к Кузнецовым, и дедушка Ивановский их одарил разными подарками, а кого и просто деньгами.

Единственный родственник, которого дедушке пришлось навестить самому, был некий Хаим Ягудин. Хаим Ягудин приходился дедушке зятем, был женат на его старшей сестре, к тому времени уже покойнице. И Хаим Ягудин сказал, что коль скоро Ивановский приехал, чтобы повидать своих близких, а близких у него было только две сестры-покойницы, то он должен был бы прийти в первую очередь в дом своей родной сестры, а не в дом племянницы, потому что, как понимает каждый, сестра — более близкая родня, чем племянница. И коль скоро Ива-

новский пересек Европу, чтобы повидать своих родственников, то ему нетрудно будет сделать еще пятьсот шагов до его, Ягудина, дома. И если Ивановский этих пятисот шагов не сделает, то нанесет ему, Хаиму Ягудину, смертельное оскорбление.

Из этой амбиции вы можете представить, что за человек был Хаим Ягудин. В смысле характера. Что же касается профессии, он был отставной унтер-офицер. В то время еврей унтер-офицер была большая редкость. А Хаим Ягудин дослужился, даже имел медаль... Маленький, сухой, хромой после ранения, брил бороду, носил фельдфебельские усы, душился крепким одеколоном, курил табак, разговаривал только по-русски, не соблюдал субботы, ни в какого бога не верил и издевался над теми, кто верил. Ни один скандал в городе не обходился без него. Взъерошенный, сердитый, он ковылял к месту происшествия, размахивая палкой, врезался в толпу, начинал судить и рядинуть. Начинал спокойно, но быстро раздражался, таращил глаза, его выводила из себя «тупость этих скотов», и тогда избивал палкой и правого и виноватого. Он был хилый, тщедушный, но его боялись, не хотели с ним связываться, а он всех презирал, кричал, что не может жить с «этими идиотами», и даже объявил однажды, что скоро приедет мулла из Тифлиса и окрестит его, Хaima Ягудина, в магометанскую веру. Сами понимаете, в то время в маленьком городке это был вызов всем.

Жена его, старшая сестра дедушки Ивановского, умерла, оставив ему пятерых детей, на их средства Хаим Ягудин и жил. Между нами говоря, был большой лодырь, работать не хотел, считал себя человеком образованным. А у таких лодырей, как правило, и жена работящая, и дети работящие. Таков закон природы. Жена торговала фруктами, кормила этим семью, вертесь как могла. И дети стали рано работать, чуть ли не с одиннадцати лет, тащили один другого и, когда мать умерла, содержали отца. Дети были хорошие работники, простые, скромные люди, и только одна дочь, Сарра, не захотела жить честным трудом. Сарра была красавица, точь-в-точь как Вера Холодная, у нас ее так и звали — Вера Холодная. Она, понимаете ли, стала заниматься — чем бы вы думали? Бриллиантами. Люди даже говорили, что у нее был бриллиант царя Николая. Ну а когда женщина занимается таким делом, то хоть она и красавица, хоть она и Вера Холодная, но кончает известно чем — тюрьмой.

Но вернемся к самому Хаиму Ягудину. Он был, надо сказать, большой жуир, знаток галантного обхождения, любил выпить, посидеть в интеллигентном обществе и побеседовать на интеллигентные темы и потому целые дни проводил в парикмахерской, в компании таких же бездельников и краснобаев. Наш парикмахер Бернард Семенович тоже был знаток галантного обхождения, любил, чтобы в парикмахерской собирались «общество» и, пока он щелкает ножницами или мылит бороды, чтобы разговаривали на разные текущие темы. Не всегда эти разговоры кончались мирно. Однажды Хаим Ягудин спорил с неким провизором, изображавшим из себя либерала. Не знаю, о чем они спорили, но Хаим вдруг встает и заявляет, что он присягал на верность царю и отечеству, никому не позволит их поносить, и потому если провизор в течение десяти дней не уберется из России, за которую он, Хаим Ягудин, проливал кровь и потерял ногу, то он его убьет и отвечать за это не будет.

Провизор только усмехнулся. Но на следующий день Хаим не явился в парикмахерскую — провизора это встревожило. Не пришел Хаим ни на третий, ни на четвертый день — это встревожило всех. Короче: Хаим дал клятву, что выйдет из дома только на одиннадцатый день, чтобы убедиться, что негодяй-провизор убрался из России, а если не уберется, то он, Хаим, убьет его.

Провизор побежал к приставу. Пристав сказал, что, пока он, провизор, жив, то есть пока Хаим не убил его, нет никаких оснований того преследовать... Вот если он его действительно убьет, тогда придется Хaima арестовать. Хорошее утешение для провизора!.. На одиннадцатый день у дома Хаима собрались люди, желающие посмотреть, как Хаим будет убивать провизора. Им не пришлося этого увидеть. Ночью провизор уехал в Одессу, а оттуда в Америку.

Все это я, конечно, рассказываю с чужих слов, может быть, в действительности это было не совсем так, а как-нибудь по-другому. Но этот случай достаточно характеризует Хаима Ягудина.

Ничего этого, конечно, дедушка Ивановский не знал. Но семья Кузнецовых отлично знала, что за тип Хаим Ягудин, хорошо понимала, что означает его заявление о смертельном

оскорблении: от Хaimа Ягудина можно ожидать любой хулиганской выходки, и потому лучше ему уступить. И они деликатно намекнули профессору Ивановскому, что его зять Хaim Ягудин — заслуженный унтер-офицер, инвалид, ходить ему трудно и хорошо бы профессору его навестить, тем более муж его покойной сестры и до дома Хaimа всего пятьсот шагов.

Пришлось нашим швейцарцам идти к Хaimу Ягудину. Я, естественно, при этой встрече не был. Но потом я бывал в доме Ягудина и ясно вижу всю сцену...

Представьте старый, запущенный дом вдовца, к тому же лодыря, который за свою жизнь повышибал много чужих зубов, но не вбил в стену ни одного гвоздя, представьте покосившееся крыльце, сломанные перила, танцующие половицы, дырявую крышу, побитую штукатурку, темные сени, заваленные рухлядью. Представьте «зал»: грубый стол без kleenki и без скатерти, громадный рассохшийся буфет с разбитыми стеклами, треногие стулья с дырявыми сиденьями... И посреди этого великолепия стоит Хaim Ягудин, маленький, рыжеусый, с седым унтер-офицерским бобриком, и улыбается хотя и галантной, но высокомерной улыбкой: мол, мы не из Базеля, не доктора медицины, но тоже кое-что значим.

Между прочим, у них могла бы состояться беседа. Хaim был для своего времени — и для нашего городка — человеком довольно образованным, хотя и самоучка. Он даже знал немного по-английски. То есть в каком смысле знал? Мог написать на конверте адрес по-английски. У кого были родственники в Америке или в Австралии и надо было отправить письмо, те шли к Хaimу Ягудину.

Словом, с ним было о чем поговорить, и он любил поговорить. Но все началось с инцидента и на инциденте закончилось.

День был жаркий, дедушка и отец были одеты как положено для визита: костюм-тройка, галстук, крахмальный воротничок. Они изнывали от жары, пот лил, особенно со старика, градом. И наш бравый унтер-офицер принимает решение — освежить гостей одеколоном. Ставит посреди комнаты дырявый стул, сажает профессора и обдаёт его физиономию тройным одеколоном из пульверизатора — один конец пульверизатора во флаконе, другой конец у Хaimа во рту. Заметьте к тому же, что зубов у него нет. Хaim надувает щеки, дует из всех сил,

извергает на профессора вонючий одеколон и изрядное количество слюны. Но, как только он на секунду прервал процедуру, чтобы перевести дыхание, профессор встал, вынул из кармана платок, вытер лицо и отставил стул, показывая, что процедура окончена.

Однако упрямый Хаим ставит стул обратно и приглашает Якоба освежиться тем же способом. Но профессор запрещает, и сам Якоб этого не желает. А Хаим Ягудин, вместо того чтобы смириться и не навязывать гостям своей парфюмерии, наоборот, настаивает, требует, прицеливается в Якоба пульверизатором. Тогда дедушка надевает котелок, раскланивается и уходит с Якобом из дома, нажив себе в лице Хайма Ягудина смертельного врага.

Но на такого врага профессору Ивановскому, как вы понимаете, наплевать, он не хочет знать никакого Хайма Ягудина, он вообще никого здесь не хочет знать, кроме семьи Кузнецовых.

Семья Кузнецовых состояла из отца — кузнеца, матери — племянницы моего дедушки Ивановского и трех дочерей, трех девушек-красавиц. У этих девушек-красавиц были красавицы-подруги, и, как вы, наверно, догадались, среди подруг, безусловно, главной подругой была Рахиль Рахленко, моя будущая мать. И конечно, Рахиль сделала так, что во время следующего визита Ивановских к Кузнецовым они там ее застали. В этом нет ничего удивительного! Сестры Кузнецова пригласили к себе ближайшую подругу Рахиль Рахленко и познакомили ее с Якобом Ивановским, который хотя и приехал из Швейцарии, но приходился им родственником, троюродным братом или чем-то вроде этого. И что зазорного в том, что их подруге захотелось поближе рассмотреть эту заграничную штучку, этого фарфорового мальчика, потрогать, повернуть, посмотреть, из чего кроются такие красивые куклы. Моя мать умела всего лишь кое-как читать, писать, считать — не больше. В те времена, особенно в семье сапожника, девушкам редко давали высшее образование. Ничего, кроме неба, соснового леса и реки, она не видела, и вот пожалуйста, маленький принц из Швейцарии...

Моя мать очень любила отца, любила всю жизнь и отдала ему всю жизнь. Но встретить ее отец на базельских улицах, он все равно полюбил бы Рахиль, и только Рахиль, она была его

судьбой. А будь мой отец парнем с нашей улицы, еще неизвестно, как бы повернулось дело... Красивый, конечно, но тихий, скромный, застенчивый, и могло случиться, что мать полюбила бы более сильного, смелого, боевого парня. При всей своей дерзости и сумасбродстве моя мать была женщина практичная, знала, чего хотела, знала, что ей надо, и не хотела знать, чего ей не надо. И учтите, что в девушках моя мать считалась первой красавицей города и офицеры из полка специально ездили по нашей улице, чтобы посмотреть на Рашиль Рахленко.

Но в данном случае действовала мать. Она захотела увидеть иностранцев и без всяких церемоний вышла на улицу. Ей захотелось познакомиться с хорошеньким мальчиком, похожим на сына генерал-губернатора, она пришла в дом к своим подругам и познакомилась.

Что происходило дальше, как складывались их отношения, не знаю, я при этом не был. Мама говорила потом: «Он мне проходу не давал, ухаживал с утра до вечера». Папа говорил: «С утра до вечера она мне расставляла сети, ловушки и капканы». Так они шутили. Но в этих шутках, я думаю, была доля истины. Отец был влюблён, мать играла с диковинной игрушкой, но было ясно, что эту игрушку она уже не отдаст.

Кому ясно? Прежде всего им самим. И только им самим. Однако в те времена, особенно в таких традиционных семьях, браки заключались не на самом высоком уровне, не на небесах, браки заключали родители.

Могли ли родители Рашили рассчитывать на такой брак? Конечно, мой дедушка Рахленко был не какой-нибудь холодный сапожник, он был мастер, имел свою сапожную мастерскую; богачом, правда, не был, но и в бедняках не ходил. Кроме того, как вы увидите из дальнейшего рассказа, это был человек во многих отношениях замечательный, я бы даже сказал, выдающийся. Но все же не профессор, не доктор медицины, не владелец лучшей в Европе клиники. И разве в Швейцарии мало богатых невест для парня из такой семьи?

Что же касается дедушки Ивановского, то он, разумеется, ни о каком браке не думал. Якубу надо сначала кончить университет, получить специальность, стать врачом, а уж потом думать о женитьбе. Старик вообще считал Якова младенцем, у него и мысли не было, что его Яacob, его маленький, застенчивый Яacob, этот мизинец, вздумает жениться.

Конечно, если бы старик что-нибудь усек, как теперь говорят, он немедленно сел бы в поезд и смотался обратно в Швейцарию. Но он ничего не усек, и хотя смотался, но не в Швейцарию, а в город Нежин, повидать своих гимназических друзей, и поехал один, без Якоба. А так как Якобу не годилось жить одному в гостинице и столоваться в трактире, то он переселил его к Кузнецовым, где ему выделили залу, самую парадную комнату, и обеспечили домашним питанием.

Большой глупости старик совершить не мог: он оставил Якоба один на один с Рахилью.

Старик отсутствовал неделю, именно про эту неделю мать говорила, что отец не давал ей проходу, а отец — что она расставляла ему силки и капканы. Ничего конкретного я про эту неделю не знаю, но представить себе могу... Они ходили купаться. Тогда женщины купались отдельно от мужчин, про общие пляжи в те времена и не слышали. Но что значит отдельно? По одну сторону куста — Якоб, по другую — девушки, сестры Кузнецовых и Рахиль. И Якоб слышит их писк, визг и смех, он воспитанный мальчик, он не всматривается, но как-то само собой получается, что ему сквозь кусты видны их мелькающие тела, и хотя он отводит глаза, когда Рахиль входит в воду, но нутром видит ее, как прекрасную Афродиту в пене морской. И кругом степь, поля, стрекочет в траве кузнечик, и все обжигается нашим благословенным солнцем, какого Якоб в своей Швейцарии не видел и никогда не увидит...

Но главное представление разыгрывалось в лесу. Я уже говорил, что наш город стоял в замечательном сосновом сухом лесу, — такие леса бывают только на юге и только в степи. Такого чистого, сухого, смолистого воздуха, как в этом лесу, я думаю, вы нигде не найдете, недаром подышать этим воздухом приезжали дачники даже из Москвы и Петербурга. Брали гамаки, корзинки с едой, уходили с утра в лес и валялись там весь день в гамаках. К тому же наш предприимчивый аптекарь по фамилии Орел поставил в лесу веранду и продавал там свежий кефир как лекарство, как целебный напиток; к бутылке кефира можно было прикупить сдобную булочку, тут же продавалось сливочное мороженое в маленьких вазочках. Я этого аптекаря Орла с его целебным кефиром, сдобными булочками и сливочным мороженым отлично помню, он возобновил свою деятель-

ность при нэпе, в двадцатые годы, я тогда уже был подросток; помню бидоны с мороженым, обложенные льдом, в широких деревянных бадьях. Между прочим, и в двадцатые годы в наш город приезжали дачники из Москвы и Ленинграда и ходили с гамаками в лес. И как было дело при отце и матери, я могу себе представить. А дело было так: они ходили в лес, конечно не одни, а с сестрами Кузнецовыми, ходить одним, молодому человеку и барышне, считалось тогда неприличным. Не знаю, все ли три сестры их сопровождали, вряд ли, в наших местах девушки не бездельничали: сад, огород, у того корова, у этого коза, и надо помогать отцу в лавке, если он торгует, относить заказы, если он ремесленник, и есть младшие братья и сестры, сорванцы и сопляки, за которыми надо смотреть, и надо ходить с матерью на базар и помогать ей на кухне, — словом, работы в доме хватало, и прохладиться целый день в лесу Кузнецовы своим дочерям позволить не могли. Но ведь речь идет о Якобе, о дорогом госте из Швейцарии, гостя надо занимать, развлекать, а какое может быть лучше развлечение, чем наш лес, знаменитый, можно сказать, на всю Россию, и что может быть полезнее для такого деликатного блондинчика, чем смолистый воздух? И конечно, Кузнецовы с охотой отпускали своих дочек с Якобом в лес. Ну а как и чем отговаривалась дома Рахиль, сказать не могу, при крутом характере ее отца, моего дедушки Рахленки, я даже не могу представить, как это ей удавалось. Но, представьте, удавалось.

В общем, они ходили в лес и, как вы догадываетесь, располагались не на виду у дачного общества, а в стороне. Сестры Кузнецовы качались в гамаке или делали вид, что собирают землянику, а отец с матерью сидели на пледе меж сосен и смотрели друг на друга.

Июль, безоблачное небо, неподвижный воздух пропитан терпким смоляным запахом сосны, земля, горячая от солнца и мягкая от желтых сосновых игл, на Рахили тонкое короткое платье, шея открыта, по плечам рассыпаны черные волосы, и достаточно протянуть руку, чтобы до них дотронуться. И ему девятнадцать лет, а ей шестнадцать.

На каком языке они говорили? Отец знал два языка, немецкий и французский, мать тоже два, даже три: еврейский, русский и украинский. У них, как говорится, было в обороте пять

языков, и ни на одном из них они не могли объясняться. Они объяснялись на шестом языке, самом для них понятном и прекрасном... Мать была женщина в полном смысле слова, умела притягивать к себе и в то же время держать на расстоянии — самое коварное женское качество. Как пружина: она сжимается, ты вот-вот у цели, но пружина разжимается, и ты отлетаешь на десять шагов. Этим искусством мать владела в совершенстве, и это был тот самый капкан, о котором впоследствии говорил отец.

Когда профессор Ивановский вернулся из Нежина, Якоб объявил ему, что женится на Рахили.

Не знаю, хватил ли дедушку удар, думаю, нет, принял успокаивающие капли, а может быть, ничего не принял — у хирургов нервы крепкие. Дело было не столько в неожиданности этого заявления: от молодого человека девятнадцати лет, когда он врезался в девчонку, можно всего ожидать. Дело было в упорстве, такого упорства дед от него никак не ожидал. Впервые Якоб проявил характер, и, может быть, это даже обрадовало деда. Я даже думаю больше: в принципе дед был не слишком против такого брака. Во-первых, он видел, что такое Рахиль, а о том, что она была первая красавица, я уже вам докладывал. Во-вторых, Рахиль, простая, работящая девушка, без манерности, изнеженности, будет хорошей женой и матерью. И наконец, в-третьих, дедушке не могло не импонировать, что его сын хочет взять жену с его, дедушки, родины, в этом, как ни говорите, есть знак уважения к родителю. А что до материального неравенства, то у Якоба, слава богу, своего хватает. Университет? Где написано, что учиться можно только холостому? Почему нельзя учиться женатому, если этот женатый всем обеспечен, и у него жив отец и не собирается умирать, и жива мать и тоже не собирается умирать, живы братья-хирурги и есть клиника, не последняя в Швейцарии?

Так, по всей видимости, рассуждал дед, отец Якоба. Но была еще мать Якоба, и ее никак нельзя было обойти. В таком деле вообще нельзя обойти мать, тем более речь идет о ее любимчике, о ее дорогом Якобе.

И дедушка Ивановский сказал сыну:

— Якоб, ничего против Рахили я не имею, славная девушка. Но такое дело, Якоб, без материнского благословения не делается. Обойти мать мы никак не можем.

Якоб был разумным парнем и понимал, что нужно материнское согласие. К тому же он любил мать и не мог ее обидеть. И он сказал Рахили, что поедет в Базель, получит материнское благословение, немедленно вернется и они поженятся.

Через два дня отец и сын Ивановские укатили в Швейцарию. Перед отъездом Якоб попросил Рахиль сфотографироваться и, когда фотография будет готова, выслать ее в Базель: как только его мать увидит, какая Рахиль красавица, она тут же даст свое благословение.

С этим и уехали.

2

А Рахиль осталась. Теперь она была не просто Рахиль Рахленко, дочь сапожника Авраама Рахленко, она была невестой Якоба Ивановского из Базеля, сына известного профессора, владельца знаменитой клиники.

Положение, доложу вам, щекотливое. Улица рассматривала это положение со всех сторон, поворачивала и туда и сюда. Все сходились на том, что у Рахили один шанс против ста. Шанс этот — ее красота, а девяносто девять против вы и сами наберете: простая, необразованная, небогатая и так далее и тому подобное, а там — доктора, профессора, клиника, Швейцария, Европа... И пожелай старик женить на ней своего сына, он предпринял бы кое-какие шаги, нанес бы Рахленкам визит, посмотрел, что за люди ее родители, что за семья, с которой предстоит породниться, узнал бы поближе саму невесту. Ничего этого профессор Ивановский не сделал: к Рахленкам не зашел, не представился, не познакомился, не обмолвился ни словом. Ясно: счел все мальчишеской блажью и поторопился увезти сына в Базель, согласие матери — не более как уловка.

К такому заключению пришла улица, а от такого заключения один шаг до насмешек: какая, мол, незадачливая невеста!

Но уже тогда, в шестнадцать лет, моя мать не была человеком, который может стать объектом насмешек. Вскоре аккуратно... Что значит «аккуратно»? Каждый день стали приходить письма из Швейцарии. Каждый, понимаете, день, в один и тот же час в дом к сапожнику Рахленко являлся почтальон, который до этого и дороги сюда не знал, и вручал конверт из Базе-

ля. Скептики были вынуждены замолчать. В душе скептики, наверно, считали, что письма абсолютно ничего не значат: мало ли что корябает на бумаге влюбленный мальчишка! Но факт оставался фактом: письма приходили, Рахиль на них отвечала, ходила на почту и опускала в ящик конверт. Значит, что-то делается, дело движется, куда, в какую сторону, — неизвестно, но движется. И люди решили: подождем — увидим, время покажет.

Письма не сохранились. Но, как я узнал потом от бабушки, именно тогда, в этот год, когда шла, так сказать, переписка между Россией и Швейцарией, мать и получила кое-какое образование, расширила, так сказать, свой кругозор, выучилась как следует русскому и даже чуточку немецкому. Конечно, ей помогали. На нашей улице были образованные барышни, я уже не говорю об образованных молодых людях, были и гимназисты, и реалисты, и студенты на каникулах. И кто откажет в помощи такой красавице, которая к тому же должна покорить Швейцарию!

Теперь перенесемся мысленно в Швейцарию, в город Базель. Главным действующим лицом в Базеле была моя бабушка Эльфрида, и бабушка Эльфрида — ни в какую, ни за что, ни в коем случае! Чтобы ее Якоб, такой Якоб, вдруг женился, да еще на дочери сапожника, об этом не может быть и речи. Ничего плохого о моей матери она, конечно, отцу не говорила, не было оснований говорить, люди интеллигентные, воспитанные, но надо сначала кончить университет, в девятнадцать лет не женятся, это моя смерть, конец моей жизни, я этого не переживу, и так далее и тому подобное, что говорят матери, когда не хотят, чтобы их сыновья женились. Как я понимаю, было там много шума и гама, конечно, шума и гама на европейский манер, так сказать, по-базельски, как это положено в добродорядочных немецких семьях, но так, что ясно: жизнь или смерть.

Но и для Якоба вопрос тоже стоял именно так: жизнь или смерть. Он настаивал на своем, потом замолчал. Молчание это было хуже любого шума. Он замолчал и стал чахнуть на глазах. И все видят — о каком университете может идти речь, когда человек тает как свеча: не ест, не пьет, не выходит из комнаты, никого не желает видеть, не читает, ничем не занимается, сидит целыми днями в своей комнате и вдобавок ко всему курит папиросу за папиросой?!

Каково матери? Совсем недавно она гуляла со своим Якобом по знаменитым базельским бульварам, все им любовались,

радовались и спрашивали, чей это такой красивый беленький мальчик, а теперь этот мальчик лежит один в комнате, в дыму, курит папиросу за папиросой, не ест, не пьет, ни с кем не разговаривает, похудел, пожелтел, того и гляди заболеет чахоткой и прятанет ноги.

Так прошел год, и стало ясно: надо что-то делать. Если выбирать между жизнью и смертью, то лучше жизнь. И вот ровно через год в том же июле месяце в наш город направляется делегация: профессор Ивановский с женой Эльфридой, сыном Якобом и экономкой, женщиной, которая прислуживала бабушке Эльфриде, доверенное лицо, ей предстояло все выяснить, выявить, так сказать, подноготную, потому что такой dame, как бабушка, не пристало самой разузнавать и расспрашивать, а ехала она не затем, чтобы женить Якоба, а чтобы расстроить свадьбу.

Однако тем временем другая сторона тоже подготовилась. Под «другой стороной» я вовсе не имею в виду семью Рахили. Должен вам сказать, что дедушка мой Рахленко, отец Рахили, хотя и был сапожник, но был один из самых уважаемых горожан, а может быть, и самый уважаемый. И если в городе, где есть состоятельные люди, богатые торговцы, даже купцы второй гильдии, есть паровозные машинисты и люди интеллигентного труда, если, повторяю, в таком городе самый видный человек — простой сапожник, то это, несомненно, выдающаяся личность. Такой выдающейся личностью и был мой дедушка Рахленко, я уже об этом упоминал, и главная речь о нем впереди. Пока скажу только, что он был человек прямой и решительный, не признавал хитростей и интриганства: хочешь женить своего сына на моей дочери — жени, бери такой, какая она есть, а какая она есть — сам видишь; не хочешь — не жени, другой она не будет, и я сам и мой дом тоже другими не будут. Так что родители Рахили спокойно дожидались приезда Ивановских. Готовились не они, готовилась улица, готовился город, готовились студенты, приехавшие на каникулы, гимназисты и реалисты, учителя и дантисты — вся, в общем, интеллигенция, и простые люди сапожного цеха, и соседи. Все были на стороне Рахили и Якоба, все хотели им счастья и благополучия. Вы спросите почему? Я вам отвечу: Рахиль и Якоб любили друг друга, а любовь покоряет мир.

И хотя ни сама Рахиль, ни ее родители не собирались устраивать потемкинские деревни, не хотели и показухи, как теперь

говорят, но город был взбудоражен, и как только стало известно, что летом Ивановские приедут, то само собой на Рахили появились модные туфли-лодочки на высоком каблуке, понятно, отец — сапожник; появилось новое платье, появилась и шляпка от лучшей модистки, как полагалось в те времена, а в те времена модисткой называлась мастерица, которая изготавлияла именно шляпки.

Итак, все горячо и бескорыстно готовились к предстоящим событиям. Злые языки, в их числе, само собой, Хаим Ягудин, утверждали, что благотворительность эта далеко не бескорыстна. Если Рахиль выйдет замуж за сына Ивановского, профессора, владельца лучшей в мире клиники, то все расходы и благодеяния окупятся с лихвой. Но злые языки найдутся всегда и всюду. Что касается Хайма Ягудина, то всем было ясно: обижен на старика Ивановского за то, что тот не захотел воспользоваться его парфюмерией. И рассудите сами: какая корысть студентам, гимназистам и гимназисткам заниматься с Рахилью русским и немецким, географией и историей и прививать ей светские манеры? Они знали, что ничего с этого не будут иметь, не хотели ничего иметь и не собирались ничего иметь.

И вот швейцарцы прибыли и остановились в гостинице, где их торжественно встретила пани Янжвецкая и объявила, что рада приветствовать столь высоких гостей в своем отеле; она отвела им под апартаменты верхний этаж и приставила к ним горничную Параську и официанта Тимофея, которого для такого случая обрядили в черный костюм с бабочкой, как в лучших отелях Варшавы, по выражению пани Янжвецкой. И так как дедушка Ивановский был знаменитый хирург и профессор, то ему нанесли визиты первые люди города: пристав, местный присяжный поверенный, казенный раввин и просто раввин, отставной полковник Порубайло с женой и дочерью и врач железнодорожной больницы Волынцев, очень хороший врач, социал-демократ. Словом, город встретил гостей по первому разряду, только что молебствия не было, но молебствие бывает только по случаю прибытия государя императора, а, как вы понимаете, прибыл все же не он.

Конечно, такую встречу можно объяснить знатностью гостей: нельзя не посмотреть на самого знаменитого в Европе, а то и во всем мире профессора. Но, поверьте, в основе лежал инте-

рес к этой романтической истории, никого не могла оставить равнодушной трогательная любовь таких прекрасных молодых людей: красавицы Рахили, дочери сапожника, и нежного, деликатного юноши Якоба из далекого города Базеля.

Итак, визиты: Ивановские к Рахленкам, Рахленки — к Ивановским. Экономка шныряет по городу, узнает, выпытывает, а что она может узнать, что может выпытать? Ответ один: Рахиль достойнейшая из достойных, старик Рахленко наиважемый изуважаемых. И был, конечно, лес, были гамаки, и аптекарь Орел готовил такой кефир и такое мороженое, что бабушка Эльфрида была поражена и призналась, что такого кефира и такого мороженого она в своей жизни ни разу не пробовала, хотя объездила лучшие города Европы и живала на знаменных курортах; и когда ей понадобилось поправить прическу, то явился Бернард Семенович, а, как я вам уже рассказывал, это был галантнейший парикмахер во всей губернии, и бабушка Эльфрида сказала, что таким парикмахером гордился бы не только Базель, но и Париж, а Париж, как вам известно, законодатель мод и дамских причесок. Город наш в грязь лицом не удариł, показал себя во всей красе и великолепии, а уж о красоте и великолепии Рахили и говорить нечего, только слепой мог этого не видеть, впрочем, и слепой понял бы это по ее голову, такой у нее был прекрасный, исключительный, melodичный голос. И, отдавая дань уму моей матери, надо сказать, что вела она себя с Ивановскими идеально, в том смысле, что запрятала подальше свою дерзость и строптивость. Возможно, она оробела перед такими знатными господами, перед этим парадом; возможно, не знаю. Но факт тот, что перед бабушкой Эльфридой предстала тихая, скромная красавица Рахиль. А в том, что она не белоручка, а работящая девушка, сознавшая свой долг и свои обязанности, — в этом, конечно, бабушка быстро разобралась.

Казалось, сопротивление бабушки сломлено и дело идет к венцу. Но тут вдруг неожиданно бабушка выдвинула тяжелую артиллерию. Оказывается, бабушка не еврейка, а швейцарка немецкого происхождения. И когда дедушка на ней женился, то перешел в протестанство, не то в лютеранство, не то в кальвинизм, и их сыновья тоже протестанты, лютеране и кальвинисты, и мой отец Якоб — наполовину немец и тоже лютеранин, и, выходит, я, ваш покорный слуга, на одну четверть немец.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК	5
РОМАН-ВОСПОМИНАНИЕ	297